Сергей Аверинцев

Русская мысль. – Париж. – 1995. – 26 окт. – с 10.

«Скворешниц вольных гражданин»

Вячеслав Иванов: путь поэта между мирами

Слова, вынесенные в заглавие нашей статьи, взяты из поэтической самохарактеристики, которая вышла из-под пера шестидесятилетнего Вячеслава Иванова в августе 1926 года в Риме, когда Россия окончательно осталась за спиной:

Повсюду гость и чужанин,
И с музой века безземелен,
Скворешниц вольных гражданин,
Беспочвенно я запределен…

Бегло, оставляя тему для подробного рассмотрения в дальнейшем, отметим отрешенное спокойствие тона, которое столько раз называли «холодностью» и которое так резко контрастирует с надрывом, присущим обычно трактовке темы изгнания в творчестве эмигрантов. За эмигранта Вяч.Иванов себя, в сущности, и не почитал; о том, что он «**беспочвен**» и «**запределен**», или, как сказано в этом же стихотворении чуть ниже, «**скиталец**» и «**отщепенец**», он узнал не сегодня и не вчера, а еще до всяких политических катаклизмов. Ведь и само это стихотворение — переработка сонета, датированного еще 1915 годом, в коем уже были чудные строки:

…Я — царь подоблачных лачуг
И жрец беспочвенных молелен.

И в Петербурге, в шумную, людную пору «Башни», он был «**запределен**», и в родной Москве, вешние тополя и старинные колокола которой снились ему под конец жизни, он был «**беспочвен**». Другим он быть не мог. Это судьба — а судьбу свою поэт, послушный сначала учению Ницше об amor fati, а затем христианским заветам о сыновней покорности Отчей воле, всемерно старался любить и, по любимому своему выражению, «**волить**». Да и художническая ортодоксия в понимании Вяч.Иванова требовала «**святого Да**» связному сюжету судьбы. Сарказмы — не для него. Мягкая усмешка благоволения, чуть старческая, пристойно юродская, — ведь титул гражданина скворешен сам по себе может напоминать авангардистов вроде Хлебникова, если не обериутов! — освещает эти строки, формулирующие итог целой жизни.

Только строки эти должны быть прочтены во всей полноте своего конкретного смысла. Мы слишком привыкли, встречаясь с теми оборотами общесимволистской лексики, которые квалифицируются насмешливой современной идиомой как «**поэтизмы**», понимать их широко до полной расплывчатости. Вот и здесь: разве не все символисты per definitionem были или желали быть «**запредельными**»? Ну, как же: «**Неслыханные перемены / Невиданные мятежи**», и прочая. Вроде бы запредельность — примерно то, что Цветаева будет (на свой лад вполне точно) называть «**безмерностью**». А уж кто «**запределен**», тот, наверное, и «**беспочвен**», и «**скиталец**», и «**отщепенец**»; на безличном уровне общих мест Серебряного века все эти слова — более или менее синонимы, подходящие, скажем, к тому же Блоку никак не меньше (а то и больше, поскольку блоковскому облику присуща черта безнадежной катастрофичности, ивановскому облику чуждая). Но в том-то и хитрость поэзии Вяч.Иванова, особенно поздней, в том-то и ее секрет, утаенный от невнимательного взгляда, что она, пользуясь с уникальной густотой словами так называемого высокого слога, то есть, казалось бы, поэтизмами из поэтизмов, наделяет каждое слово такой дотошной смысловой точностью, какой у поэтизмов заведомо быть не может. Слово буквально до отказа значит то, что оно значит; смысл дан прегнантно, как в любезных Вяч.Иванову древних изречениях. Вот и здесь: беспочвенная запредельность — это никоим образом не синоним «**безмерности**», не еще один эквивалент трагического артистизма, но совершенно определенное качество судьбы, которого не было и не могло быть у Блока с его удержавшимся на всю жизнь остро домашним, семейным «**бекетовским**» восприятием России — через Шахматово, через «**мама и Люба**», а всего мироздания видимого и невидимого — непременно через Россию. Это полностью исключает и **беспочвенность**, и **запредельность** в ивановском смысле.

Еще вспомним для контраста комплексы, воспитанные арбатским детством, которые всю жизнь не покидали Бореньку Бугаева и на какой-то манер, невеселый, недобрый, но бесспорный, укореняли его. Никакие экзорцизмы Штейнера не могли этого изгнать. Вспомним даже драматическую замурованность Иннокентия Анненского в ненавистном, проклинаемом, но и абсолютно необходимом ему и его Музе бытовом пространстве. Но в особенности вспомним, разумеется, многих поэтов эмиграции. Чем настойчивее делали они изгнанничество, рвущее корни — «**Хорошо, что нет царя, / Хорошо, что нет России…**» — неисчерпаемой темой саркастической поэзии, тем жестче замыкали они себя в пределах России мысленной, отделяя себя от всякого шанса запредельности. От всего сердца почтив подлинность личных трагедий, констатируем, что во всем этом типе рокового самоощущения внутри безвыходного круга национальной проблематики для «**запредельного**» Вяч.Иванова было нечто чуждое. Словно бы духовная клаустрофобия стремила его каждый раз «**за предел**» — вовне по отношению к каждому замкнутому кругу. Не то, чтобы, Боже избави, родная земля, шепчущая ему «**о колыбели, о святыне**», мало для него значила. О нет, нам еще предстоит с удивлением убедиться, до какой степени славянофильская компонента, разумеется, сильно переработанная, неизменно остается фоном его мысли и фантазии. Однако «**родное**» никогда не становится для него целым; целое — только «**вселенское**». Недаром сборник самых патриотических статей, какие ему только приходилось писать, озаглавлен у него «**Родное и вселенское**». Это «**…и вселенское**» — как

Вячеслав Иванов.

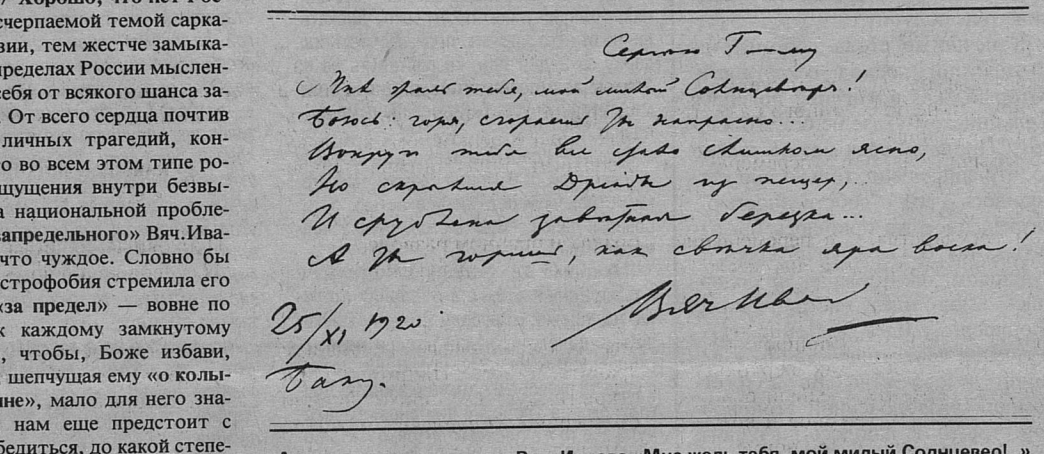
размыкание всех замкнутых кругов. Поэтому у него не сыскать ноты надрывного семейного скандала, звучащей и у Блока («**Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?.. / Эх, не пора ль разлучиться, раскаяться…**»), и у Андрея Белого («**Исчезни в пространство, исчезни, / Россия, Россия моя!**») Его **беспочвенность** слишком **запредельна** для такой провинциальной, безнадежно провинциальной эмоции, как русская русофобия. Скорее он удивит тем спокойным, отчужденным благоволением, каким из далей «**вселенского**» поглядит на «**родное**»:

Край исконный мой и кровный
Серединный, подмосковный,
Мне причудливо ты нов,
Словно отзвук детских снов
Об Индее баснословной.

Нет ничего менее похожего на безысходность блоковского отношения к «**нищей России**», то хвалимой превыше всего на свете, то хулимой, как неотвязная роковая женщина, но всегда и во всем — единственной. Блок мог пререкаться с ней:

Что же маячишь ты, сонное марево?
Вольным играешься духом моим?

У Вяч.Иванова нет причин для такого надсада, потому что его Россия — может быть, не бесславнее, однако и не ближе, чем Средиземноморье: «**Умбрских гор синеющий кристалл**». Он недаром сказал о себе однажды, что он — «**наполовину чужеземец, из учеников Саиса, где забывают род и племя**». Разумеется, это можно назвать холодностью; ибо интеллектуальная страсть, им владевшая, была направлена на другой предмет. Как сказал о ней сам поэт — «**Одним всецелым умирима**». Именно внутри **всецелого** и **вселенского**, в соотнесении с Галилеей и Иерусалимом, с Афинами и Римом, но также, например, с христианской средневековой легендой о светлом индийском царстве Пресвитера Иоанна, — использованной особо в «**Повести о Светомире царевиче**», но подразумеваемой, кстати, и в отсылке к «**Индее баснословной**», — получает Россия для скитальца и отщепенца свой смысл. Но так и современность значима лишь внутри связи веков и тысячелетий; Вяч.Иванов жил тем, что у М.М.Бахтина называется «**большим временем**».



Сергею Г—ну

Мне жаль тебя, мой милый Солнцевер!
Боюсь: горя, скорбей Ты напрасно…
Вокруг тебя все ярко слишком ясно,
Но скрытна Дрёмы ту пещер,
И сгублена девятая Берёза…
А Ты горишь, как свечка ярл воска!

Вяч. Иванов

25/XI 1920.
Баку.

Автограф стихотворения Вяч. Иванова «Мне жаль тебя, мой милый Солнцевер!..»

С высоты ивановской вольной скворешни — или, если вспомнить образ из другого стихотворения, написанного еще в Москве, родной голубятни — старый русский спор между почвенничеством и западничеством выглядит примерно так. Почвенничество, замыкающее личность в тождестве этноса и страны, есть провинциализм, так сказать, топографический. Но и западничество, фетишизирующее современность и прогресс, предстает как провинциализм хронологический. Для Вяч.Иванова, отщепенца миролюбивого, но несговорчивого, то и другое чересчур тесно. В стихах про голубятню он с энергичным отвращением описал, что случилось бы, согласись он принять устав любого из наличных видов узости:

Я стал бы вам нужен, и сроден, и мил,
С недужным недужен, с унылым уныл.

Какой заряд отталкивания вибрирует в этой ехидной игре звуков «у-у» и «ы-ы», расшифровывающей «**нужное**» (современнику и соплеменнику) как «недужное» (ибо замыкающее в пределах унылого тождества и чреватое надрывом)! Это может, пожалуй, напомнить Кузмина; что же, два поэта были некоторое время дружны и не так уж плохо друг друга понимали. Но различие тоже немаловажное. Для того, чтобы играть в игру Кузмина, необходимо было отказаться от того важного, благоговейного, неожиданно наивного доверия к основам бытия, без которого Вяч.Иванов непредставим. Юродивая старческая усмешка, упомянутая выше, нимало не отменяет всегдашней ивановской серьезности.

Тем примечательнее, что серьезность эта от начала и до самого конца обходится без уныния, без надрыва и надсада.

…До самого конца — вот чему стоит подивиться. Скажем несколько слов специально об этом.

Современники запомнили того, кого видели: «Вячеслава Великолепного», как не без ехидства титуловал хозяина «Башни» Лев Шестов. Да, Вяч.Иванов, уже немолодым вступив в литературную жизнь, собственными усилиями способствовал самоопределению целой культурной эпохи, ставя ее, как театральное «**действо**», потрудившись в качестве теоретика этого представления, но также в качестве драматурга, режиссера — и одного из главных актеров. Все это было: бессонные ночи на «Башне», Блок, читающий в предрассветные сумерки «Незнакомку», и еще Кальдерон в постановке начинающего Мейерхольда, как спектакль в спектакле.

Москва

Окончание следует.